**Ребенок как свидетель материнского желания.**

Сегодня я намереваюсь говорить на тему, которая для многих является очень соблазнительной. На нее действительно много говорят сегодня. Речь пойдет о желании матери и о его последствиях для желания ребенка

Я сразу хочу предупредить, что некоторые вещи, которые на данный счет порой ожидают услышать, как я вас уже предупреждал в тот раз, с нашей точки зрения совершенно нерелевантны. На самом деле, если вы хотите узнать, что о желании матери думает тот или иной официальный психологический источник, то вам достаточно попросту его открыть. Можно поступить еще проще и просто подойти к любому, кто насчет желания матери имеет свои соображения – и вы тут же услышите столько сладчайшего, столько патоки, что будете обеспечены сахаром на целый год вперед.

По этой причине я сразу хочу освободить наше рассуждение от ряда шаблонов и показать, каким образом мы можем банальный способ рассуждения о материнском желании обойти. В первую очередь, что мы услышим, если все же рискнем спросить о желании матери у профессиональных психотерапевтов? Обычно то, что они нам рассказывают — в первую очередь, это жалостливые истории о возможной пропаже желания матери, вслед за которой для ребенка следует так называемая «нежеланность». Каждый второй психотерапевт рано или поздно скажет вам следующую вещь: для него было очень важным в определенный период узнать, что тот пациент, с которым он работает, на самом деле, был ребенком не желанным. Что беременность, в результате которой он появился на свет, состоялась не в самых лучших для матери обстоятельствах. Именно здесь-то психотерапевт поднимает палец и говорит: «внимание, я набрел на важные вещи».

Вещи это действительно достойны внимания. Беда лишь в том, что за допущением пресловутой нежеланности сразу следуют рассуждения о «недостатке любви в детстве», хотя это уже совершенно другое дело.

Я сразу хочу напомнить, что мы работаем на другом уровне. Это не уровень «желанности», а уровень именно что желания. И поэтому, когда мы о желании говорим – если мы говорим о желании и вправду в смысле Фрейда и Лакана — нам необходимо искать не его цель и даже не его объект, не его содержание, но функцию. А это, конечно же, не одно и то же. И поэтому когда мы предпочитаем рассуждать на уровне «любви к ребенку», на уровне того, сколько ребенок от любящей матери получает и как складывается порой так, что эта любовь начинает иссякать, то теряем нужное направление в самом начале исследования. Поэтому я предупреждаю, что мы не будем рассуждать на уровне дефицитарном и говорить о желании матери как желании, которое якобы ставит ребенка перед проблемой: как же, в итоге, объектом этого желания стать и как его удержать? Напротив, перед ребенком – даже если его настигает такая вещь как материнская нелюбовь – всегда стоит не трагедия, а вопрос. И вопрос этот гласит: а что вообще желание матери означает?

Это забавно, но здесь нам приходится довериться тому, что иногда называют «изначальной мудростью» ребенка, толкуя ее, конечно же, абсолютно превратно. На самом деле, то, что у ребенка действительно есть — это не «интуиция», не «свежесть мысли», на которой все бессовестно спекулируют, а почти неприметная возможность не мыслить на уровне «блага» — речь идет о таком «благе», которое благом называем мы. Именно поэтому ребенок не рассуждает на уровне, который психотерапевты называют уровнем нехватки любви. Речь, если мы говорим именно о материнском желании, должна идти вовсе не о ревности и не о попытке завоевать внимание матери любой ценой — еще один педагогический миф, посредством которого некоторые психологи объясняют в поведении ребенка то, что их самих интересует. На уровне же психоаналитическом ребенок стоит перед вопросом. В некоторой степени это загадка, даже ребус — причем без особой надежды на решение. Другими словами ребенок, сталкиваясь с желанием матери, сразу выходит на высокий теоретический уровень, ибо – сразу хочу вам сказать – что в такой прекрасной вещи, как желание матери (а мы все без исключения, конечно же, почему-то считаем ее априори прекрасной и это большая проблема нашей современной психологии) ребенок, на самом деле, поначалу не понимает ничего.

И поэтому будет удобно, поставив мысль ребенка на столь высокий теоретический уровень, также самим на этот уровень переместиться и поговорить ни о ком ином как о Фрейде.

Как получилось, что Фрейд узнал, что такая вещь как «желание» существует? Если вы откроете популярные справочники, то вы увидите, что с их точки зрения мысль Фрейда совершенно не нова, что она существовала чуть ли не со времен Эпикура, а иные припомнят и конфуцианство. Что, на самом деле, Фрейд ничего особенно не изобрел и что он просто взял некоторые вещи, которые были всем очевидны, но по какой-то причине в них не сознавались. О Фрейде вообще говорят немало глупостей. И вот здесь необходимо настаивать на решительном разрыве, который Фрейд учреждает со всей предыдущей традицией.

О том, что этот разрыв реален, равно как и о том, что Фрейд думает о некоторых вещах, о которых никто и никогда до него не думал — и думает так, как никто никогда до него не думал — я покажу вам на примере самой знаменитой работы Фрейда, которая отмечена даже, я бы сказал, знаменитостью излишней, слишком любопытствующей. Это, конечно, его работа о сновидениях.

Мы всегда представляем, если плохо или мало читали Фрейда, что Фрейд берет сновидение на уровне того, что в сновидении содержится, то есть на уровне того символизма, которым сновидение под завязку набито. Якобы, его интересует то, что все это в итоге для субъекта означало. И здесь опять же нет недостатка в досужих указаниях на то, что Фрейд ничего особенного, опять же, не сделал, что сновидения привлекали внимание человечества с самых древнейших времен. Нам тычут в сонники и в другие известные рукописи и первоисточники. На самом-то деле, все обстоит совершенно иначе.

Если мы посмотрим, чем сновидение являлось для человека архаического уровня, мы увидим, что, на самом деле, еще до того, как содержанием сновидения та или иная гадалка или вещун занимались, сновидение уже являлось для них чем-то, что иначе как объектом социального желания не назовешь. Другими словами, сновидение само по себе представляло сакральную ценность. Со сновидениями возились, их пересказывали, сновидение считалось чем-то, что может принести ту или иную информацию из запредельного, таинственного мира. Заметьте, что это указывает на смещение фокуса желания из сновидения на него самого — важным в итоге оказывалось не то желание, которое в сновидении субъект может переживать и предъявить его себе же на уровне собственного сна. Прежде всего, нас, если мы занимаемся историей сновидений и интереса к ним, настигает то жадное желание, которое к сновидению исконно питали. И это желание, как я уже сказал, социальное, перед нами чисто культурный феномен. Это желание, которое обнаруживается на уровне сообщества и на фоне этого желания не имеет такого большого значения, что именно субъекту привиделось. В общем-то, всегда это означает вещи довольно банальные. Важен сам интерес, сама страсть, которую к теме сновидений питает архаический человек, и которую мы сегодня, в общем-то, на бытовом уровне с ним разделяем. Хорошим доказательством того, что я сказал, является дикий, неуемный, я бы даже сказал неприличный интерес публики к так называемым *люцидным*, то есть, осознанным сновидениям. Сновидениям предрекающим также уделяют немало интереса в том числе и сегодня. Что, собственно, означает, что никого не интересует сновидение само по себе.

Но в том-то и дело, что для Фрейда сновидение представляет нечто совершенно иное. Тот самый уровень желательности сновидения как желательности самой темы сновидения, жгучий интерес к сновидению, к его сакральному смыслу, к всему тому, что в сновидении открывается в противоположность дневному здравому смыслу Фрейда не волнует совершенно. Вопреки этому, Фрейд сразу же берет сновидение не просто на уровне того желания, которое в сновидении субъект сам перед собой разыгрывает — он берет сновидение на уровне речи. И для него важно то, что субъект сам на этот счет рассказывает. Сон нельзя «увидеть», перед нами речь — вот абсолютно современная инновация Фрейда, который в лучшем структуралистском духе совершенно убежден, что утверждение, будто ты видишь то, чего все равно нельзя никому показать — нонсенс.

И именно тогда, когда субъект пытается Фрейду предъявить наиболее важную компоненту сновидения, когда он говорит: это был самый яркий момент, я до сих пор это вижу, это в сновидении самое главное – Фрейд на это нимало не ведется. Для него важно все, что субъект о сновидении скажет и еще более то, что не скажет. И наименее важно для Фрейда то, что субъект сам в сновидении решит подчеркнуть.

Получается, что и вправду перед нами, в случае Фрейда, что-то совершенно особенное. Именно так, кстати, и нужно толковать произошедший разрыв с Юнгом. Не в том дело, что Фрейд в определенный момент, как некоторые предполагают, воспылал к сопернику черной завистью. Да и, на самом деле, когда мы разберемся в Фрейде подробнее, мы поймем, что питать зависть ему не было нужды. Фрейд порывает с Юнгом потому, что понимает — на том пути, который он открыл, на этом странном теоретическом пути за ним последовать не может никто, поэтому о неверных последователях нечего и сожалеть.

И здесь поэтому я задаюсь вместе с вами следующим вопросом: а как вообще Фрейд узнал, что на уровне желания, желания субъекта, субъекта говорящего, можно мыслить? Как ему вообще открылась эта сторона вопроса? Многие, даже всерьез и с неплохим пониманием штудируя Лакана, осознают в итоге, что вот эта вещь для них отнюдь не ясна.

В связи с этим я хочу отослать вас к одному литературному произведению, которое в этом отношении представляется мне репрезентативным и существенным. Это произведение под названием “Утраченные иллюзии”, и автором его является Оноре де Бальзак.

Ситуация в этом романе складывается следующим, действительно очень символичным с точки зрения заданного вопроса образом. Молодой человек, этакий самородок, самолюбивый самоучка с большими планами, приезжает из глухой провинции в Париж. Ему помогает, как это водится, уже довольно перезрелая дама. И он видит, попадая не без ее помощи в высший свет – а это и есть предел его жалких честолюбивых мечтаний, – что в этом высшем парижском высшем свете все, буквально все, кишит желаниями. Это молодому человеку открывается сразу, не такой он дурачок, да и трудно было бы даже при всем его провинциальном идеализме это не заметить. Желание сквозит во всем. Итак, Люсьен все понимает. Он не понимает только одного – а как он это понял? Каким органом, чувством, если угодно, он эту игру желаний считывает?

Как оказывается, что, едва успев порог салона переступить, он уже оказывается в центре разнообразных интриг и тут же видит самые для себя печальные их последствия?

Именно это, как я скажу в дальнейшем, Люсьена и губит, а вовсе не то, что в его истории разглядела тогдашняя депрессивная молодежь — торжество жестокого и искушенного мира над честолюбивым мечтателем, пожелавшим получить себе шесток не по чину.

И точно по такой же схеме – сразу хочу подсказать – движется и мысль самого Фрейда, как раннего, так и позднего, умудренного. Я уже говорил на прошлой встрече, что на уровне высказывания — высказывания самого Фрейда, мысль Фрейда, сама ее публичная эволюция от уровня ее работы как функции, совершенно неотделима. Фрейд говорит с публикой о неких эффектах — о «вытеснении», о «переносе» — и тут же в адрес себя и своего учения эти эффекты вызывает. Это, кстати, его совершенно не удивляет — так, видите ли, с его точки зрения и должно быть.

Но мы имеем право спросить: в силу чего появляется такое прекрасное совпадение? И в каком смысле оно оказывается отнюдь-таки не совпадением, а, напротив, как я неоднократно говорил, точкой проблемы и разрыва?

Итак, Фрейд буквально охвачен желанием прояснить, а как же, на самом деле выглядят некоторые вещи, которые иначе как на уровне примитивных объяснений нам понять никогда не дают. Скажем, что будет, если мы попросим кого-нибудь, даже человека, возможно, компетентного, например, педагога или детского аналитика, рассказать, как же получается, что ребенок, в итоге, как-то ориентируется в отношении двух базовых вещей — во-первых, это желание матери, во-вторых, это так называемая «реальность», функцию которой мы все равно не понимаем, да педагогу это и неинтересно. И если будем достаточно последовательно припирать его к стенке, то постепенно поймем, что ничего внятного сказать он нам не может, кроме того, что так, мол, распорядилась природа. Природа эта, видимо, очень хитра, раз у нее всякий раз как-то получается так, что в итоге любой субъект, как бы с ним дурно не обращались, неизменно в отношении и желания матери и в отношении реальности – а вещи это очень близкие, как я покажу ниже – оказывается сориентирован.

Мы все имеем с реальностью дело, но не можем понять, как это происходит, если ребенок, у которого к этому – как проницательно замечает Лакан – нет ни одной предпосылки, начинает подключаться к этому всеобщему празднику, или же, если верить Лакану, коллективному психозу «реальности». Как ребенок с того уровня, который психоаналитики объектного типа называют уровнем галлюцинаторным, т.е. уровнем первых удовлетворяющих объектов, таких как материнская грудь – как ребенок, в итоге, все-таки начинает удовлетворение «реальное» от удовлетворения фантазматического, намечтанного или увиденного во сне и т.п., отличать? Это вопрос вопросов. И ведь это только самый минимум того, что нам предстоит выяснить.

Поэтому имеет смысл последовать за Фрейдом именно потому, что его ведет интерес, которые не желает останавливаться на уровне подобных магических формул: природное развитие, естественная эволюция психики ребенка – что это вообще такое? Какой от всего этого прок? Не очевидно ли, что как понять такие вещи попросту нельзя, что слова, в которых они выражены, ничего не означают? Вот где терпит полное фиаско так называемый здравый смысл.

За Фрейдом стоит последовать еще и потому, что у нас для этого появляется дополнительный стимул. Действительно, если бы желание Фрейда было бы только желанием реальности – чистым желанием ученого, как иногда его сам Фрейд и представлял – то в этом случае мы не могли бы на это желание опереться. Потому что жажда реальности в науке сродни жажде истины — а это довольно коварная штука.

Но мы можем следовать за Фрейдом именно там, где у нас для этого появляется дополнительный стимул. И этот стимул состоит в том, что – как я вам уже сказал, – некоторые популярные объяснения порой и сегодня повторяются столь часто и столь навязчиво, и в них при этом столько мало смысла и они порой невменяемо слащавы, что у нас действительно возникает желание узнать – а во имя чего эти невнятные объяснения отстаивают? Чего, на самом деле, здесь боятся? Что скрывают? Неужели мир рухнет, если мы откровенно скажем, опираясь на аналитический опыт, что тот же ребенок не так уж нуждается в проявлениях пресловутой материнской любви и что она гораздо чаще вызывает у него замешательство, нежели дает удовлетворение и что оценивает он ее проявления в конечном счете не на том уровне, где их комментирует психолог?

Если это и вправду вызовет у нас интерес, то мы, конечно же, захотим некоторые вещи для себя прояснить. Заняться этим тем более уместно, что в случае желания матери перед нами, конечно же, ключевая, важнейшая тема, которая действительно должна, в итоге, по результатам ее исследования предоставить нам добрую долю всего того, что только мы можем о субъекте узнать. В этом и состоит насмешка. Я призываю вас в этой связи вернуться к тому различию между содержанием высказывания и актом высказывания, которое я ввел на прошлом занятии. В данном случае различие это буквально вопиет о себе. Если заглянуть в любой психологический источник, повествующий о периоде так называемого младенчества, можно узнать, что это важнейший, ключевой период, в котором закладываются основы всех дальнейших достижений психики ребенка. Из них обычно называют двигательные функции и речь, и на этом все заканчивается. Нигде не выступает так ярко разрыв между содержанием подобного высказывания о «богатейшем материале первого года жизни» и между самим актом высказывания, когда это содержание предъявляется с такой банальностью и бедностью.

Здесь, кстати, тоже налицо некое желание — желание утаить, закрыть тему. Это желание отчетливо себя предъявляет, когда кто-то умиленный – скажем, та же мать, – говорит вам: я полностью с ребенком слита, наше желание едино, мы представляем собой гармоничную совокупную целостность. Я уверяю вас, – скажет мать, – что я это просто чувствую и уверена, что ребенок чувствует это тоже.

Вот тут-то и нужно навострить уши, потому что если мы находимся на уровне аналитической теории, то, конечно же, нет ничего для нее пагубнее, когда вот такие важные темы – отношения младенца и матери – действительно являющиеся для психоанализа базовыми и ключевыми — нет ничего печальнее, когда они делаются объектами чуть ли не психотической умиленности. В этом смысле, конечно же, нам могло быть интересно, а какое желание, в итоге, нам предъявляет тот или та, кто вот таким образом о слиянии с ребенком говорит? Чего на самом деле хочет высказывающийся таким образом?

Интересно, что эта типичная речь матери о слиянии с ребенком, придумана вовсе не матерью. Речь о мистическом единстве ребенка и матери, мадонны и младенца, находима уже на таких древних этапах, как этап, скажем, святоотеческой истории и первых мистических откровений. То есть, как ни странно, придумана она мужчинами. Поэтому отдельным вопросом является то, почему женщина относится к этим речам с таким доверием — почему она считает, что идея мистического единения с ребенком и вправду что-то в ее желании выражает?

Я не буду на этом вопросе специально задерживаться, потому что мне нужно провести рассуждение тропой теории, которая покажет, почему довериться этому желанию, выраженному в речи матери, мы не можем. Напротив, необходимо показать, насколько, на самом деле, уровень желания матери, направленного, как кажется навстречу ребенку является от ребенка на деле отчужденным и сам по себе служит причиной отчуждения дальнейшего.

Посмотрим, к примеру, на мать, охваченную психозом вины — мать, которая переживает отказ — скажем, вынужденный — от своего ребенка и переживает его тяжело. Нечто подобное также может иметь место при аборте или естественном выкидыше. Что мы на этом уровне увидим? Когда мать испытывает страшные угрызения совести по этому поводу, не очевидно ли, что ребенок, тот ребенок, которого на руках у нее уже нет, здесь совершенно не присутствует. Но не присутствует он не потому, что его больше нет, а потому, что в терзаниях матери, на самом деле, уже участвует совершенно другая инстанция. Перед нами, конечно же, Имя Отца. Имя Отца, помимо прочих функций, которые оно выполняет — это в том числе и то, что в социальном поле объявляет некоторые вещи приемлемыми, некоторые, едва ли допустимыми, некоторые, нежелательными, а некоторые, совершенно, абсолютно недопустимыми, находимыми за пределами всякого понимания. На самом деле, речь идет о понимании того, кто сам себя объявляет законом. Другими словами, это его проблемы.

Тем не менее, то, что он считает это недопустимым, имеет последствия в том числе на уровне желания женщины. Ведь именно этот момент абсолютной недопустимости того, что она сделала, заставляет мать доводить себя до отчаяния. При этом мы знаем, что отчаяние это вовсе не является естественной данностью — перед нами типичный культурный феномен . Существует масса исторических эпох, а также масса географических мест, которые располагаются от нас сегодня не столь далеко, где в том, что случилось с матерью, отказавшейся от ребенка, ничего не увидят такого, что выходило бы за пределы понимания общественности. Для того же Средневековья — для определенных его социальных кругов — такой отказ был совершенно житейским делом.

Это отсылает нас к другому примеру — к интересному в своем роде случаю, который представляет нам Фрейд, занимаясь неврозом человека-крысы. Человек-крыса, как мы помним, испытывает садистическую фантазию о пытке симпатичной ему дамы крысами. В этой пытке он никак не может аналитику признаться, его сковывает мучительный стыд. Поэтому когда Фрейд буквально клещами из него вытягивает этот рассказ, он воочию созерцает на лице пациента тягчайшую борьбу и слышит запинки в его речи. Но не очевидно ли, что в не столь давней истории, скажем, истории Востока и его дисциплинарных взысканий, обязательно найдутся люди, которые скажут, что здесь ничего необычного нет. Для многих культур и по сей день пытка — это дело тоже, в общем-то, житейское.

Здесь Фрейд подходит к очень важному моменту, на котором он показывает: уровень проступка, это одно, а уровень вины и мук совести – совершенно другое. Первое со вторым никак не связано. Это доказывается, скажем, совершенно безобидными компульсивностями в неврозе навязчивости, когда некто, не могущий вовремя помыть руки, или не переступающий через черту на тротуаре, испытывает такие же страшные муки, такой же страшный стыд, как тот молодой человек, который нафантазировал себе пытку с крысами.

Я подвожу вас к мысли о том, что в состоянии матери, которая убивается по поводу брошенного ею ребенка и иногда на почве вины доводит себя до настоящего самоубийства – в этом желании матери никакого реального ребенка уже нет. Мать имеет дело с какими-то другими инстанциями, инстанциями, которые с ребенком, с его судьбой не имеют ничего общего.

В этом примере, как вы видите, ребенок от желания матери отчужден буквально. Но даже если мать ребенка с рук не спускает и окружает его самыми нежными заботами, реальность ребенка для матери все равно остается чем-то очень туманным. Туманна она потому, что даже на уровне прямого взаимодействия ребенок этот постоянно прикрыт другими объектами материнского желания. Другое дело, что об этом ребенок до определенного момент не догадывается. И это важно, потому что очень скоро он это узнает — узнает как бальзаковский Люсьен, вдруг догадавшийся, что парижскому обществу на его успехи наплевать и что оно не прочь от него избавиться, совершить выкидыш.

Поэтому когда мы имеем дело со случаем матери, ребенка бросившей, от ребенка отказавшейся или утратившей его невольно, мы тут же вступаем в инстанцию Воображаемого. Мать воображает, что она сделала нечто совершенно непоправимое, после чего жить просто нельзя. Именно поэтому она себя, в итоге, или морально, или вполне реально убивает.

Напротив, когда мать имеет дело с ребенком, выполняя все материнские функции в роли «достаточно хорошей матери», как это иногда называется, ребенок представляет собой для нее, конечно же, объект. Ничто, кстати, не заставляет нас думать, будто бы этот объект какой-то особый, привилегированный. То, что мать так полагает, это одно, а то, что на этот счет скажет, например, Мелани Кляйн, которая объектной функцией занимается, это совершенно другое. А скажет нам Кляйн то, что нет никаких оснований думать, как будто бы объектные отношения матери, которая, разумеется, в своем желании имеет дело с разнообразными объектами, в отношении к ребенку становятся чем-то другим. Ребенок такой же объект, как и все прочие. Все объекты, коли мы имеем с ними дело – говорит М. Кляйн, – являются ценными. Ребенок не исключение, конечно, но именно это делает его объектом вполне тривиальным.

Все это подтверждается в том числе и данными антропологии, которая чрезвычайно полезным образом отрезвляет нас в некоторых наших чересчур радужных представлениях. Ребенок в племени – равно как и женщина, как пленный и как скот – является, конечно же, достоянием всего племени в целом и, стало быть, средством обмена — он подкидыш по определению. А это означает, что он выступает именно на уровне символическом, т.е. на уровне объекта, или же знака.

Пока здесь идет речь о стороне именно матери. Это тот самый уровень, на котором, как было сказано выше, мадонна с младенцем устойчиво мыслятся заключенными в единый круг. Именно круг здесь является наилучшей формой выражения того мира согласия, того благодатного союза, который, как кажется людям умиленным, мать и ребенок собой представляют. Наша задача — его разорвать.

На деле, как было сказано выше, рвется он уже там, где на уровне материнского фантазма мать мыслит целой сначала саму себя и, как ей кажется, к этой целости ребенка впоследствии подключает. Ребенок, таким образом, в качестве объекта всегда остается привеском, то есть функционирует как выкидыш.

Но возможно и опровержение с другой стороны: в конце концов как ребенок в таком случае, если и вправду пресловутое слияние воедино существует, может узнать, что существует и такая вещь, как желание другого? То есть, как ребенок на этом уровне может узнать, что другой вообще есть? Совершенно очевидно, что если слияние бы господствовало с самого начала, если бы мистический круг, объединяющий мать и ребенка у ее груди, и вправду существовал и действовал, у ребенка к пресловутой реальности не осталось бы ни малейшего прохода. Действительно, если бы ребенок и вправду пламенел и сгорал в луче материнской любви, которая была бы на него направлена и в которой он бы растворялся без остатка, о какой реальности вообще можно было бы говорить?

Но мы уже увидели, что все обстоит иным образом. Ребенок как таковой, реальный ребенок желанию матери не открывается практически никогда. Но именно это и позволяет ему самому, в итоге, к желанию матери получить доступ — речь идет не о любви, не о контакте, а об открытии ребенком того факта, что мать является желающим субъектом и что у нее есть фантазм.

Избежать этого невозможно — как все мы знаем, нам так или иначе рано или поздно приходится в отношении желания другого как желания чужого ориентироваться. Чтобы понять, как это возможно, стоит еще раз свериться с судьбой Люсьена, приехавшего в Париж за деньгами и славой.

У Люсьена, таким образом, есть некое желание — не абы что, но для того, чтобы быть замеченным, сойдет. Он хочет быть знаменит, обласкан критиками, любим, в конце концов. Он рвется вперед. Он хочет того самого, что Лакан называет *признанием*. Но на что Люсьен, в итоге, наталкивается? А наталкивается он на то, что такой вещи, как «единое желание», желание объединяющее, не существует. Тут ему открывается истина вполне фрейдовского уровня: когда вы мыслите о желании, никогда не стоит видеть его в качестве непосредственного выброса энергии, вектора, стрелы, которая направлена из вашей груди и пронзает все, что перед вами находится. Не стоит также мыслить таким образом желание другого, потому что оно так не устроено.

Если нам нужен был бы для желания какой-то образ, то мы бы выбрали образ не стрелы, не вектора, не пики, на которую мы наши желанные объекты нанизываем. Напротив, желание — это сеть.

Именно в сеть неопытный Люсьен и попадает в итоге. Он обнаруживает, что нигде нет месте, где другой бы откровенно сказал: мы тебя хотим, останься с нами, ты наш гений. Или, на худой конец: мы тебя не желаем, ты чужак, деревенщина, убирайся отсюда. К этому он тоже был готов, но ничего подобного не случилось. Когда Люсьен попадает в сферу желания другого, он попадает буквально в матрицу, где желание представляет собой тонкую совокупность намеков, знаков, обменов полужестами. Обменов, конечно же, в основном символических. Т.е. желание — это зона. Именно поэтому мы не можем говорить, что желание представляет собой какой-то зов, какой-то порыв, реализованное намерение, пусть даже бессознательное. Желание другого — это сеть различных намеков, сеть противоречивых, смутных, оборванных на полуслове сообщений, в которых субъект, не в состоянии их свести воедино, в итоге запутывается намертво, если у него не хватило ума еще раньше махнуть на все это рукой.

Так вот, когда ребенок впервые сталкивается с желанием матери, он ни в коей мере не имеет с ним дело как с неким лучом, с изливающейся на него энергией любви. Желание — это ни в малейшей степени не энергия, это не жидкость, которая ребенка, скажем, наполняет до самой макушки, или которую, ему наоборот не доливают — и тогда он на всю жизнь остается «недолюбленным». Здесь возникает устойчивая ассоциация с питейным заведением низкого пошиба. Но существует огромный психологический сегмент, который именно так ребенка и видит. Здесь его представляют как некое устройство, к которому нужно подключить аккумулятор и наполнить его в итоге до самого верха, про запас тем, что называют материнской любовью.

Напротив, вся лакановская мысль была напрасной, если в итоге из нее не становится понятным то, что у желания нет количественного измерения. Поэтому и говорить о том, много ребенка любят или же мало, на уровне исследования желания нет никакого смысла. С одной стороны, конечно же, это может на ребенка и на его судьбу определенный отпечаток в итоге наложить. Но собственное желание ребенка, независимо от того, насколько сильно его любили, так или иначе ведь окажется сформировано. Именно это нас в данном случае интересует. Другим словами, нужно ответить на вопрос, как именно — в свете того, что существует желание матери — формируется для ребенка функция реальности?

Ответ на этот вопрос может лежать только в направлении фиксации момента – я не говорю, что момент это определенный, хотя некоторые вехи в нем можно выделить довольно точно — когда ребенок узнает, что желание матери существует и что вещь это довольно специфическая.

Как именно мать могла бы ребенку показать, что у нее есть свое желание? Конечно же, только одним-единственным способом. Любая мать обречена на то, чтобы продемонстрировать ребенку, где именно от ее желания он отчужден.

Отчуждается от него он опять-таки не тогда, когда им мало занимаются или, скажем, когда у него появляется младший брат или сестра – излюбленная тема всех психотерапевтов. Как раз напротив – и оригинальность мысли Лакана состоит именно в этом – именно тогда, когда ребенок буквально облизан матерью, когда она его любит сильнее своей жизни, когда она обрушивает на него вулканические выплески любви, тогда-то ребенок и начинает смекать, что здесь не все чисто. Даже самый нахальный маленький деспот, даже самый залюбленный маленький принц в итоге начинает понимать: не может быть так, чтобы эти потоки безудержной любви — особенно это касается отдельных вспышек, которые мать иногда себе по отношению к ребенку позволяет — не может не понимать, что этих потоков он не заслуживает. Где-то тут должен быть подвох, и ребенок при определенных условиях начинает улавливать его очень рано, уже на стадии формирования речи.

Скажем, в житейской сцене, где мать охвачена ожиданием приехавшего из командировки отца и именно во имя этого ожидания мужчины, во имя охватывающего ее предвкушения некоторых женских наслаждений она нежно треплет и тискает своего маленького пятилетнего сына. Именно в такие моменты ребенок, если он не совсем глуп – а он никогда не бывает настолько глуп – и должен кое-то заподозрить.

Это просто иллюстрация и все, конечно, обстоит гораздо сложнее. Мы понимаем, что в желании матери невозможно отделить ту его часть, которая адресована именно мужчине, отделив от нее то, что действительно направлено на ребенка. Это бессмысленно не потому, что они неразрывны, а потому, что в этом желании есть еще и другие потаенные местечки. Есть там — в этом совершенно убеждены и Фрейд и Лакан — такие дали, которые даже самый желанный мужчина не исчерпывает полностью. Не прочитав ни того ни другого ученого мужа, ребенок это так или иначе постигает на опыте.

Именно в это место ребенок и может благополучно адресовываться, удовлетворяя свои нехитрые нужды. Вопреки тому, чему нас опять-таки учит возрастная психология, психология матери и ребенка, для удовлетворения этих нужд вовсе нет необходимости, чтобы желание матери было на ребенке сконцентрировано. Напротив, именно в то место, где ему места как будто и нет, ребенок, когда он переходит на уровень, называемый эдипальным, и метит. Я призываю, наконец-таки, отделаться от клаустрофобической мысли о соперничестве, в котором мы видим желание матери чем-то вроде пирога, поделенным между отцом и остальными детьми. Место, свободное от них, есть всегда, и оно-то в итоге и открывает для ребенка пространство, где Принцип реальности может быть отрегулирован в отношении Принципа удовольствия.

Именно поэтому Лакан и говорит, что Фрейд при всей своей проницательности не до конца уловил смысл эдипова комплекса, который сам же и открыл. Фрейд, так или иначе, все еще полагает, что дело в соперничестве — что есть такой уровень, на котором ребенок начинает мать к отцу ревновать. Именно тогда, по мысли Фрейда, дитя соображает, что оно тоже является маленьким мужчиной и может в этом качестве себя матери предложить. Здесь же перед Фрейдом закономерно возникает затруднение, так как он пытается понять, почему точно так же матерям себя предлагают и маленькие девочки — так вырастает перегруженное деталями, перенасыщенное этажами здание Эдипа с двумя лестничными входами — по одному на каждый пол. Это именно то, чего Лакан пытается по возможности избежать.

Выход состоит в том, что о соперничестве нам больше говорить нет никакой нужды, потому что как раз-таки именно тогда, когда нам кажется, что перед нами разворачивается драма ревности, соперничество происходит не за то, что в желании матери уже занято кем-то другим, а за то, что в этом желании как раз-таки свободно, и никем из тех, кто перед этим желанием находится, не удовлетворено.

Вы видите, что здесь ребенка подстерегает некоторое расщепление. Ребенок — грудной — который о двусмысленном желании матери еще не догадывался, но был при этом его объектом, именно тогда в отношении желания матери совершенно не сориентирован. Мать дана ему как объект частичный, как сосок. И, напротив, тогда, когда ребенок от желания матери оказывается отчужден, когда он заподазривает по боковым движениям глаз, по смешкам матери, по каким-то кокетливым движениям, которые мать совершает в присутствии мужчины, равно как и в его отсутствие – именно тогда ребенок начинает догадываться, что дело не в нем самом и что желание женщины, которая волей случая его породила, от него отчуждено. Еще позже, иногда уже в ходе собственного анализа, к нему приходит понимание, что дело было также и не в отце и что есть некая зона, территория в фантазме матери, в которую доступа не имел никто.

Эта зона не подлежит завоеванию — за нее не борются, тем более, что она, возможно, не одна, и воображаемая дефицитарность здесь устраняется сразу же. Зона эта нужна для того, чтобы, зарегистрировав ее наличие, узрев наслаждение матери, ребенок уяснил — не интеллектуально, конечно, хотя речь, как было показано, идет о материях высоко теоретичных, недоступных зачастую даже специалистам — что с зоной этой ничего поделать нельзя и что никакому влиянию она не поддается. Именно здесь, с этой стороны, закладывается то, что станет опорой для установления Принципа реальности в желании ребенка.